

The book cover features a central illustration of a man in a dark, textured sweater over a white collared shirt, holding a knife in his right hand. He has a serious, intense expression. In the background, to the left, a man in a blue police uniform with a peaked cap holds a handgun. The background is a mix of red and blue, with a building and some foliage visible. Several white diagonal lines cross the entire cover. The author's name is at the top, the title is in large white letters in the center, and the genre is at the bottom.

ВАЛЕРИЙ ШАРАПОВ

# ВОР КРУПНОГО КАЛИБРА

ПОСЛЕВОЕННЫЙ  
КРИМИНАЛЬНЫЙ  
РОМАН

Короли городских окраин.  
Послевоенный криминальный роман

Валерий Шарапов  
**Вор крупного калибра**

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Шарапов В. Г.**

Вор крупного калибра / В. Г. Шарапов — «Эксмо»,  
2022 — (Короли городских окраин. Послевоенный криминальный  
роман)

ISBN 978-5-04-175634-5

Участившиеся грабежи генеральских дач закончились убийством случайного прохожего. Начинаящий опер Сергей Акимов выдвигает версию за версией. Кому понадобилась жизнь безобидного человека? А что, если он стал свидетелем преступления, а такое не прощают? И, хотя пострадавшие в один голос заверяют, что ничего ценного у них не пропало, сыщики понимают: здесь орудует настоящая банда с опытным наводчиком. С подачи своего старого знакомого Кольки лейтенант Акимов решает приглядеться к новому физруку, организовавшему при школе настоящий боевой тир...

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175634-5

© Шарапов В. Г., 2022  
© Эксмо, 2022

## Валерий Георгиевич Шарапов

### Вор крупного калибра

© Шарапов В., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Бывалый сержант Остапчук сообщил, что с фронта прибыло крупное пополнение, причем все как на подбор – командиры разведрот, штрафбатов, волкодавы-чистильщики, а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста, но это не конкретно.

– Я так понимаю, Серега, спустят тебя обратно в участковые, – заметил старший товарищ, балуясь кипятком с превеликим аппетитом.

Акимов возмутился:

– Это с чего вдруг?

– А с того, что с висяками у тебя глушняк, – скаламбурил Остапчук, собирая хлебные крошки и посылая их в рот. – Кроликов бабкиных отыскал? Нет. А «эмку» этого, как его... заслуженного пенсионера наполеоновских кампаний? Который кровь мешками проливал. Ну, ты помнишь. А этот, теткин пропавший отрез, как его, черта аль гиппопотама?

– Мадаполама, – угрюмо подсказал Сергей. Да, эта мадамочка со своей мануфактурой попила у него кровушки.

Сержант продолжал изгаляться и перечислять, тыча пальцами в больное, а Сергей, хотя и скрежетал зубами, внутренне был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы:

– Хорош гнать-то, – и замолк.

Потому что мыслишка упрямая грызла: а ну как и вправду? Тогда крышка. Полная профнепригодность. А еще и позор. Потому что прилюдная выволочка получается: его, боевого офицера с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, все-таки обезвредил банду домовников, спустить на землю, как в сортир? Тогда уж лучше сразу копать канал какой.

«Да вот пусть попытается, черт кривой. У меня благодарность от самого генерала. Пусть только попробует, иначе...» – храбрился Сергей.

«Иначе что?» – насмешливо вопрошала совесть.

Сам перед собой он должен был признаться: да, с раскрываемостью у него – швах. Фортуна следовательская – дама переменчивая, любит долгие ухаживания, терпение и труд.

У него, Сергея, с ухаживаниями не ладится. Не получалось как следует общаться с людьми, да и работа со свидетелем упрямо не давалась. Потому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а то и прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь затем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его, куда следует, – и выудить нужное.

И размышлять, честно говоря, он еще не умел. И соображать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков, не владел наукой выявлять причины и следствия (а то и путал их местами), хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, по-детски не допуская вариантов.

Всему этому надо было учиться, но для начала – признать себя неучем, и было это безумно трудно.

И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов, намертво придавив сомнения в собственной профпригодности, заносчиво выслушал констатацию того, что и сам знал, – низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздернув подбородок, заявил, чуть не звеня от злости:

– Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению я – следователь.



Новый начальник, капитан Сорокин Николай Николаевич, был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придирчивый, въедливый. Глаз, говорят, ему еще до войны выбили, поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам (по чьим, правда, не уточнялось). И вот этим-то единственным глазом – острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма – он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного:

– Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то – салага. Не скажу «шестерка».

– Да я... – вскинулся Сергей.

– Ты про банду домушников? Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло. Можешь забыть, а накрепко другое запомни: твои достижения, и в особенности курсы твои, – это тьфу и растереть. Уровень твой покамест – участковый на земле. На самой что ни на есть окраине, понял?

Акимов, играя желваками, молчал, но уши уже начинали гореть.

– И не вздумай бахвалиться, строить из себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сажал, да по рукам дают. Знаю я вас: вчера вылупились, торбохвата грязного заловили случайно, по его же пьяни, прокурор по шапке надавал – отпустили. И на те, ходят по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях: мы, мол, ловим, а оне отпускают.

– Да я... – снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его:

– И про «я» забудь. Букву эту забудь. Есть «мы», органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы «оне» не были вынуждены отпускать. «Оне» – это которые пусть и с опытом, и высшим образованием, а, представь, тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские – наши, советские люди, – спят и видят, как бы всех кровососов – да вновь на волю?

Акимов покачал головой: эва куда руководство занесло, в какие высоты.

– Значит, так. Ты не просто преступника берешь, вываливаешь, как самосвал, – во, я привез, дальше сами-сами. Твое дело – спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего, Основного Закона, – будь то прокурор, эксперт, суд, – были все основания полагать: вот он, преступник, а ни в коем случае не неповинный, честный советский гражданин. Ясно?

– Да не совсем. С одной стороны, вы...

– Я? – прищурился Сорокин.

Вот клещ одноглазый!

– Руководство, – поправился Акимов, – настаиваете: давай скорее, выявить и задержать. А теперь, оказывается, не только держи-хватай, надо еще работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорские, эксперты, суд – это все потом, а я – первое звено, основа, и от меня все зависит, и если я где напортачу, то все правосознание рухнет. А как мне вот это все обеспечить, без образования и всего такого? Как это вы себе представляете? Технически.

Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь:

– Все, достаточно. Хитренький ты жук, Акимов. Излагаешь гладко: то есть вы меня не так выучили, а спрашиваете, так?

Акимов начал понимать, что зря он все это начал.

– Теперь возвращаемся к тому, с чего начали: твои курсы следователей. Выучили тебя, друг мой, а дальше – именно сам-сам. Развивайся, анализируй, образовывайся. Чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное: с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они. Им стань. Или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть, так, чтобы люди сами к тебе шли, сами просили выслушать. Понял?

– Тогда, так получается, проще при задержании того... предупредительный в голову, а второй уже – в воздух, – проворчал Акимов.

– Давай, милый, давай, – поддакнул Сорокин, – если совести, правосознания, – да и – что экивоки разводить – ума не хватает, так и пали. Людей-то у нас еще много осталось, всего-то двадцать миллионов полегло. И тот, по которому палишь не разобравшись, без достаточных на то оснований, он-то, конечно, ничей не муж, не сын, не брат, не руки рабочие. Чего его жалеть.

Ненавидел Акимов такие вот разговоры. И повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях, на косвенном – берет начальство и так вдруг все повернет, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают.

– И что ж, выходит, саботажник я, а не опер? – тяжело, точно булыжники языком ворочая, проговорил он. – Удостоверение на стол, кайло в руки?

– Вот видишь, доходит до тебя, – одобрил капитан, – начал понимать, чего на самом деле стоишь. А все потому, что опыт. Ты боевой офицер, летчик, человек с высокой степенью ответственности. Самолет тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю. Мотай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковер закатываю, издеваюсь, ты же сам командовал, понимаешь...

– Я и не думаю.

– Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось – да не успели, ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит не как созидание, а как разрушение: сплошная погоня, засада, пальба-поножовщина. Будет что девчонкам рассказать...

Сорокин оборвал свою речь и прищурился:

– Сам о таком мечтал?

– Нет, конечно, что я, не понимаю? – огрызнулся Сергей.

– Вот я и говорю, – мирно продолжал Николай Николаевич, – то, что для кумушек на лавочках да для девочек на танцах – героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов, – топорная работа, нечеткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чем я?

Акимов заверил, что понимает. Хотя не очень.

– Поспешил. Спугнул. Недоучел. Доказательств мало. Ты пойми: преступник – он не дурак. Если ты все сделал как надо, и он сам понимает – нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если невменяемый – тут я не спорю. Но это исключение, не правило, а на деле нормальный человек – даже головорез – понимает: если все доказано, то идти некуда. Все равно возьмут, только уже с прицепом: сопротивлялся при задержании. И нарисует прокурор – я тебя уверяю, с превеликим удовольствием, – уже не восемь годков, а все десять.

Акимову показалось, что он все-таки уловил какую-то неувязочку, и не преминул по горячности вставить:

– Прямо так-таки некуда идти, Николай Николаевич, скажете тоже. Годами бегают...

Сорокин аж руки потер от удовольствия:

– Прости. Про таких, как я, говорят: связался черт с младенцем. Ждал я твоей ремарочки. Но ты же сам понимаешь, как еще учить-то вас, умников? А на твою реплику отвечу так: если прямо сейчас кто и бежит, то ненадолго это. Эх ты, следователь! Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого, а то бы...

Акимов насторожился: как же, говорили, по тылам одноглазый кантовался?

– А то бы что? – осторожно спросил он.

– Да ничего. Это со стороны казалось: крах, паника, толпы беженцев. Что ты! Осведомители работали как часы, о каждой информации поступала минимум из двух источников – от соседа и от жены... ну, не важно. Идею понял?

– Не совсем.

– Поясняю еще раз для особо одаренных, – терпеливо сказал Сорокин. – Если в агонизирующем рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спянной военными годами, Великой Победой, совместным трудом?

Начальник поднялся, прошелся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник.

– Бегают, говоришь? Ну, пусть бегают, пока есть чем... Бегают, само собой, людей убивают, документы подделывают, да и есть где приткнуться: Западная Украина, Молдавия, Прибалтика, да и Сибирь. Но я тебе так скажу: недолго им бегать, если каждый из нас на своем месте, в своих пределах будет бдительным. Само собой, по тайге, по тундре, да и просто в лесу, еще не разминированном, есть где спрятаться, только ведь пытку одиночеством мало кто снесет. Оно, одиночество-то, страшнее голода и тюрьмы, даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься, и с каждым годом все труднее и труднее будет.

– Это почему ж так?

– А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят – похлеще смершевцев. Потому что проходные с вахтерами, общежития с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожками – это не считая бдительных пионеров! Вот с этими, мой тебе дружеский совет, в контакте всегда находишься. Бесценные ребята. До всего им дело есть, до всего докопаются, все примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. Ясно?

– Так точно.

– Вот так и служи, – подвел черту Николай Николаевич. – Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка, бандиты да ворье распоясались, неучтенного оружия фронтовики повезли, да и после победной амнистии... да. Поднагадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с Летчика-Испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. Покультурнее, в общем. Проявишь себя как следует – вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усек?

– Усек, – угрюмо ответил Акимов.

– Свободен.

\* \* \*

Правильно говорят: беда не приходит одна. Сначала Батошку – Анчуткину подобранную собаку, которая работала грелкой, спала между друзьями-огольцами, – заловили в собачий ящик, потом, прямо перед самыми холодами, свалилась новая напасть.

Власти принялись за разбор завалов. Это как раз когда зима на носу и по ночам уже мерзнешь до костей. Что им приспичило прибираться именно сейчас? Что тут строить, на окраине? Это там, в центрах, возводили огромные дворцы с потолками по три метра, где-то вырастают целыми кварталами трех-, четырех-, пятиэтажки с уже подведенной водой, сортирами в квартирах, с батареями... врут, наверное. Кому это все строить? Где рабочие руки брать? На какие шиши?

Как-то раз, когда уже хорошо подморозило и без Батошкиной шубы у друзей зуб на зуб не попадал, послышался рев мотора и кашель выхлопа, и, выглянув в оконный проем, увидели Анчутка и Пельмень целую армию, как в газете на фото про Сталинград.

– Глянь, фрицы, – просипел Яшка.

Он никак не мог согреться, и старая хворь одолевала его с новой силой: чуть пошевелишься – и кашель, чуть успокоишься, прикорнешь – и свист в груди.

– Что, опять? – возмутился Анчутка, откашливаясь.

– Расстрелять паникера, – скомандовал Пельмень. – Не сопи. Вон наши, со стволами.

Тревога, естественно, оказалась ложной. Просто на окраину доставили пленных на разбор завалов. Было их человек... немало, вполне нормально одеты были фрицы, даже в большинстве своем выбритые и постриженные, как есть не вшивые, а стало быть, и не тифозные. Бодрые, а главное, в целом упитанные.

– Беда, слушай, чего-то вертухаев маловато, – заметил Андрюха.

– А чего ж много-то, куда им деваться? Куда им бежать-то? – рассудительно заметил Яшка.

– Ну, это... нах вест?

– Скажешь тоже. Ну и добежит до первого угла, а там его моментом разъяснят.

Пельмень, подумав, согласился: так-то охрана защитит, не даст на расправу, а бежать фрицам до хаузе далеко и незачем. Зима скоро, да и куда деваться без языка и документов.

– Лодыри. Трудно, что ли, язык русский выучить? – недоумевал Яшка.

– А еще говорят, трудолюбивые, мол, фрицы, – заметил Пельмень. – Еле ползают, а ряхи вон поперек шире. Ночи три-четыре еще спокойно можно перекантоваться, а там поглядим, может, и похиряем в соседний квартал. Пока еще до нас доберутся.

Полдня отработали пленные, разбирая завалы, и Анчутка с Пельменем, которые уже перестали их опасаться, оценили качество их труда и масштаб работы и решили, что никакого смысла нет смываться прямо сейчас.

– Еле клешнями шевелят, – констатировал Анчутка, – только глаза мозолят. Принесла их нелегкая. И так мерзнем до полного окоченения, а теперь уже куда деваться.

Снова послышался шум мотора, отстреливалась очередями прогоревшая выхлопная труба, прокрякал клаксон. К развалинам причалила – совершенно определенно – кухня! Пленные моментально закончили и без того неторопливую, без энтузиазма, работу, зато быстро и четко, как на плацу, выстроились в шеренгу на раздачу.

– Только глянь...

– Вот твою ж бога душу...

Пацаны матерились, подбирали слова, делились впечатлениями: а как иначе? Что ж за дела-то на белом свете? Покрасневшие, сопливые носы услужливо сообщали ссохшимся кишкам: похлебка мясная, каша и... масло! И кому?!

– Жируют фрицы, – завистливо цыкая зубом, процедил Яшка. – Народ-победитель с голоду подыхает, а они...

– Ну мы ж не они, – заметил Пельмень, сглатывая слюну, – пленных голодом не морим.

Дурманные ароматы туманили мозги, так и хотелось проскользнуть ужом между битым кирпичом, нырнуть с головой в этот дымящийся чан – и жрать, жрать, глотать, обжигаться. И пусть хоть убивают потом.

По счастью, остатки разума и жизненный опыт подсказали, что не то что нырнуть – добраться до чана не получится. Во-первых, далеко, во-вторых, Яшка, вот уже месяц перхающий, как старая овца, на полпути упадет, а то и вовсе откинется. Ну и охрана, хотя и мало их, что ни говори, а все ж бдит...

Бдил и тот, что на раздаче. Фриц. Точнее, половником орудовал наш, но рядом стоял пленный и каждую миску-кружку отмечал по бумажке. И не только посуду с хавчиком отмечал, но и кто по сколько раз подошел.

Кто-то из гансов пытался протиснуться за добавкой, но этот, с бумажками, мигом осаживал. Десяти минут не прошло, как на этого держиморду ругались уже все – и раздатчик, недовольный тем, что его заставляют половник заполнять не как получается, а точно как положено, и пленные, которые хотели жрать, а не стоять в очереди. Да и охрана косилась неодобрительно.

Этому, что с бумажкой, все было нипочем.



Возможно, потому, что остальные были в пижонистых кепчонках с пуговками и хлипкими ушами, а этот – в удивительной шапке, похожей на островерхий конус, из серебристо-серой овчины, да еще и в советской шинели, которая оборачивалась вокруг него чуть ли не вдвое. Перетянута она была ремнем с пряжкой, с которой был спилен орел.

Вот он стянул варежки – именно варежки, причем тоже наши, трехпалые, – и в глаза бросились удивительные руки с бесконечными пальцами. Которые немедленно побелели, потом посинели – видать, приходилось уже отмораживать.

Высокомерно игнорируя выступления, фриц успевал проконтролировать все – и количество жратвы в каждом половнике и в каждой миске, и соблюдение очереди, и физическое состояние товарищей, и кто сколько на выходе получил щец и хлебушка.

– Ты ручки им еще проверь, – проворчал Андрюха, – помыли – не помыли. Да, с таким клещом на сторону фиг что перепадет.

– Унтер какой-нибудь, из бывших, – предположил Яшка, – ишь как хлебалом дергает. А уж фуражка-то! Истинный ариец.

Они прыснули, но тотчас захлопнули рты – напрасная предосторожность. Ветер, гуляющий по развалинам, свистал разбойником, заглушая все звуки.

Раздача между тем медленно, но подходила к концу, последним свою пайку получал именно «унтер». Мстительный раздавала не преминул этим воспользоваться – плеснул прямо на самое доньшко, да не в миску, как прочим, а в какую-то консервную банку, снегом наспех протертую.

Только было слышно, как он хабалисто вякал: «Где я тебе миску возьму? Ишь, фон-барон. Бери что есть». Обделенный фриц лишь дернулся, но не произнес ни слова.

«Размазня, – подумал Пельмень. – Уж я бы не промолчал, это факт... А молодец мужик: голодный, а сначала проследил за тем, чтобы не обделили товарищей, а потом еще жрет последки и добавки не требует».

Поскольку от него до «бруствера», за которым таились Анчутка с Пельменем, было не более полусотни метров, легко было видеть, как фриц застилает бетонную плиту газеткой, расставляет свою пайку, достает из недр шинели склянку...

– Бухло? – удивился Анчутка. Пельмень лишь плечами пожал, сбитый с толку не менее товарища.

«Унтер», взболтав склянку, плеснул из нее на замерзшие, по-покойнически синие пальцы, – в морозном воздухе аж зазвенело от сильного запаха.

– Шнапс, что ли? – прошептал Яшка.

– Сам ты шнапс, одеколон, – со знанием дела поправил Пельмень. – Ишь ты, ручки начищает. Что боишься-то, такой заразой и микроб побрезгует...

Не выдержав, хихикнул, и Анчутка прыснул – и очень зря это сделал: хапнув ледяного воздуха, немедленно зашелся в кашле.

Напрасно шикал друг: «Цыц ты, холера!» и прочее, напрасно Яшка зажимал рот и ужасно пучил глаза. Приступ не утихал.

Хорошо, что фрицу не до того было: закончив «сервировку» и сняв папаху свою распрекрасную – ну и уши же у него оказались! Локаторы! – он сложил руки, отвернулся к стене и на какое-то время замер.

– Чего это он? – шепнул Яшка, а Андрюха проворчал:

– Набожный. Небось, когда в наших девок-детишек пулял, тоже боженьку на помощь звал, черт... Черт! Да тихо ты!

Яшка, обессилев от приступа, привалился к стене. Кладка, обветшавшая от времени, взрывов, дождей и морозов, немедленно капитулировала, из-под Анчуткиных субтильных лопаток, словно пот, струйкой заструились пыль, камешки и прочая дрянь сыпучая. Тут еще, как назло, ветер попутит.

Фриц безошибочно – ишь, в самом деле ушастый – глянул в сторону шума, отложил ложку, которую только-только натер какой-то тряпчочкой, и направился к ним.

– Тикаем! – вякнул было Пельмень, но Анчутка лишь руками развел, дыша со свистом. Андрюха пошарил по полу, нащупал увесистый камень, приготовился... хорошо, что это был не каратель с автоматом в руках, а пленный, в смешной папахе и советской шинели. И потому-то не влетел камень в высокий лоб, не брызнули на кирпичи тевтонские мозги, – и фриц просто подошел и заглянул за «бруствер».

Некоторое время они разглядывали друг друга: три оборванца, обмотанные чужим тряпьем.

Глаза у фрица оказались зелеными, как неспелый крыжовник, аж скулы свело, а лицо изуродованное: прямо по левому глазу, через лоб ко рту, проходил глубокий шрам. Разорванная и небрежно заштопанная губа вздернута, и лицо в итоге выглядит как маска на городском театре: одна сторона скалится в улыбке, другая пусть и не плачет, но мрачноватая.

И взгляд у немца был такой люто-голодный, пронизывающий, что Пельмень, позабыв о камне, пролепетал:

– Дяденька, ниht шиссен.

«Унтер» хмыкнул, выдал что-то на своем собачьем наречии, ворча, вернулся к своему «столику» и, когда подошел снова, протянул пацанам свою консервную банку.

– Отравить хочет, – быстро сказал Яшка.

– А покласть, – немедленно отозвался Андрюха.

И торопливо, но по-братски, по глотку на каждого, они сожрали фрицеву пайку – из подзадохшейся капусты, это да, но на мясном концентрате, сытном, ядреном. Было похлебки ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего.

– Фсе? – спросил «унтер» и щелкнул своими удивительными щупальцами. – Тай.

Пельмень протянул ему посуду.

– Данке шон, – поблагодарил образованный Яшка и закашлялся.

И снова «унтер» зыркнул крыжовенными буркалами, вздохнул и, вытащив из кармана, вручил Пельменю кусочек хлеба, прозрачный, как осенний лист.

Впоследствии, уже взрослым, Андрюха сам себе признавался, что в этот момент был готов запихать в себя и эту скудную пайку, проглотить до последней молекулы – и плевать и на то, что протягивает хлеб смертельный враг, и на больного Яшку.

Однако так пристально, оценивающе смотрел фриц, что не посмел Пельмень опозориться, понял своим замерзшим и скукоженным умишком, что нельзя так. Бережно, по крошечке, он честно и поровну разделил пожертвование и немедленно заметил, что оскал фрица стал улыбкой. Синий от холода и голода, он как будто весь засветился ею, до самых оттопыренных, как в прошлой жизни мама замечала, «музыкальных», ушей. Хлеб был непривычный: не черный, не светлый, а какой-то серый, не магазинный, видать, из какой-то особой пекарни.

Раздался крик охраны: «Кончай перерыв! За работу». Фриц, собирая со своего «стола», выдал еще одну длинную тираду, в которой прозвучало «шпиталь», «швинзухт» («Больной свиньей ругается?» – подумал Анчутка), но, понимая, что говорит впустую, поспешил за зов.

– Тикаем, Андрюха, – поторопил Яшка. – Ща вертухаев приведет.

– Да хорош, – лениво возразил друг. – Ему-то на что? Ох и хорошо-то как!

Они прислушивались к своим внутренним ощущениям, к таким довольным желудкам. Радость оказалась недолгой, воспоминания о похлебке испарились очень скоро, и есть захотелось с новой силой.

К вечеру на промысел Пельменю пришлось идти одному, Анчутка совсем расклеился. Потом он всю ночь дрожал, не мог никак улечься, что-то приговаривал во сне и кашлял, кашлял, кашлял. Андрюха начал серьезно подозревать, что надо бы другу в больницу – а там как

кривая вывезет, пусть в детдом, и там люди живут, говорят. Однако стоило наутро завести разговор, как Анчутка взбесился и зашипел:

– Только заикнись об этом, задушу ночью! Ишь чего удумал. Лучше тут подохнуть!

– Да тихо ты, – увещевал друг. – Не хочешь – не надо, только не ори. А то, слышь, снова едут!

И снова прибыл транспорт и вывалил немцев, которые неторопливо разбирали завалы, сновали с тачками, орудовали лопатами. И вновь появился «унтер» в папахе. Сразу по приезде он оторвался от своих и от охраны – было очевидно, что конвоиры не особо беспокоятся о том, что он надумает бежать, – направился к «брустверу». Убедившись, что его знакомцы на месте, вернулся к работе.

В этот раз во время обеда при раздаче «унтер» вел себя склочнее. Раздатчик поливал его отборными матюками, а тот огрызался плотными, хлесткими очередями, вставляя русские термины, – и, странное дело, в дуэли победил фриц. Выбив в качестве репараций не один, а три половника, – и не только котелок, но и три пайки в него выбил, – он, не обращая внимания на крики в спину, отправился к «брустверу».

– На, – кратко скомандовал он, подавая котелок, практически полный, – фрест, шнелле.

Пацаны поняли без переводчика. Они, чуть не с ногами влезши в посуду, уничтожили пожертвованный харч. Благодетель при этом выдавал какие-то ценные указания, то тыча в Яшкину грудь, то изображая повешение (или самоудушение?), употребляя русские народные слова, обозначающие «кирдык». Потом извлек из кармана какую-то жестянку и пантомимой принялся изображать: мол, это надо пить с горячим.

– Где я тебе горячее-то найду? – возмутился Пельмень, внимательно следящий за разъяснениями.

«Унтер» огрызнулся новой порцией разъяснений и мата, в которой проскальзывали уже знакомые «шпиталь», «швинзухт» и понятный без переводчика «капут».

– Сдается мне, он за больничку болтает, – заметил Яшка угрюмо. – Или госпиталь, или капут.

– Йа, йа, – кивнул фриц, в том смысле, что судьбу свою Анчутка понимает вполне правильно. И все совал в руки свою жестянку. Пришлось взять.

Покликали всех снова на «арбайтен», фриц поднялся, указал на пол, потолок и стены, затем ткнул себе в запястье, в отсутствующие часы, и, наконец, помахал руками, как бы сгоняя мух. Сдернул чудо-папаху, нахлобучил на голову Анчутке – и скрылся с глаз.

– Эва как, – вдумчиво произнес Пельмень. И замолчал.

Яшка прогудел из-под овечьего конуса:

– Грит, завтра тут разбирать начнут. Валить надо.

– Надо – свалим, – флегматично заметил Пельмень, рассматривая подарок. Под крышкой оказался перетопленный желтоватый жир.

– Вот это дело, – оживился Яшка, – это ж надолго хватит, если по чуть-чуть. Жир, он сытный.

Андрюха возразил:

– Э, нет. Лекарство это понемногу надо. Я так понимаю, что это жир собачий. Его от кашля и эки принимают, все знают. Фриц все повторял – «хунд», «хунд» – это собака. Точняк говорю. Его и с горячим пить надо, как он показывал.

– Не стану, – упрямо заявил, надувшись, Яшка. – Может, это вообще Батошкин.

– Станешь, – таким же манером уверил Андрюха. – Ручки-ножки повяжу да в глотку засуну. Больно надо мне тебя хоронить, мороки много. А что до хазы, есть у меня одна идейка.

\* \* \*

Андрюхиной идейкой оказался поселок под названием Летчик-Испытатель, располагавшийся в небольшом лесном массиве, сразу за железнодорожными путями.

Далее до соседней области тянулся серьезный лес, и ходить туда было небезопасно. Там и в мирное-то время пошаливали, а после войны до него саперы еще не добрались.

В этот светлый лесок и до войны наведывались за грибами, ягодами, орехами, хаживали туда и в военные годы. И пусть за это время в поисках съестного все сильно повитоптали и повывломали, но лес остался, пусть и подлесок сильно поредел. После Победы герои-летчики – так рассказывали – получили от товарища Сталина это место под дачи. Было ли это именно так или как-то иначе – никто не ведает, в любом случае массив нарезали на участки и выделяли их отставному офицерству не ниже полковников. Встречались и генералы. Поселок был невелик, всего пять улиц – Летная, Пилотная, Нестерова, Чкаловская и Гастелловская, – но летом заселен бывал довольно густо. Все теплое время там кипела жизнь, а чуть холодало – окна-двери заколачивали и съезжали на винтер-квартиры.

Пельмень, понаведавшись сюда несколько раз, выяснил, что зимовщики остались только на Летной и Пилотной, а на Нестерова, Чкаловской и Гастелловской было безлюдно. Вот одну из дач – одноэтажный скромный домик с мансардой и верандой, зашитой досками, – Андрюха и облюбовал под зимовку. Тем более что ворота и парадная калитка заперты на огромный амбарный замок, а задняя дверца, то есть та, что на задах двора, выходящая в лес, закрыта была всего-то на крючок.

– Курам на смех. Крючок долой, втихую снимем пару досок, – объяснял Пельмень, – пролезем – и порядок. Оно, конечно, насчет печки не уверен, можно ли топить. Хотя, если не раскочегаривать, может, и не заметят. Мороза еще нет, дым валить не будет.

– Вот беда-то, – боязливо отозвался Яшка. После месяца в холодных развалинах уж так хотелось погреться у настоящей печи, но было все-таки страшновато: а ну как завалит сердитый хозяин с пистолетом? Однако ради того, чтобы поспать в тепле, можно было и побояться.

Анчутка решил:

– А знаешь что? Да хрен с ними со всеми, сразу-то не выгонят, не увидят. Где, ты говоришь, зимуют?

– На Пилотной и на Летной точно, почту им туда несут.

– Ну так это где. Кто может увидеть-то? – неубедительно, но уверенно рассудил Анчутка. – Через парадное мы ходить не станем. А если кто с главной улицы будет заходить – так сразу увидим. Тикаем через лес – и всего делов.

На том и порешили. Дождавшись ранних сумерек, пробрались к задней калитке, без труда откинули ножиком крючок, отжали пару досок, которыми была забита веранда, и проникли в дом. Внутри было темно и уютно, пахло сухим деревом и хорошим табаком. То ли сама постройка была возведена на совесть, то ли не так давно хозяева съехали, но было довольно тепло. Сама обстановка простецкая: на первом этаже – одна большая просторная комната, и лестница шла наверх. Правда, что там наверху – неясно, ход забит листом фанеры, чтобы тепло не уходило, но вряд ли там было богаче, чем на первом этаже. Главное, что имела место – Анчутка вздохнул так, как будто чаша его счастья переполнилась, – великолепная печь-голландка, выбеленная, отделанная кафелем, с чугунной конфоркой да начищенными отдушинами, которые до сих пор поблескивали.

– Это хорошо, что не русская и не буржуйка, – со знанием дела пояснил Пельмень, рыща в поисках дров, – меньше будет дыму...

Предусмотрительные хозяева даже топливо уложили в сених, и сами дровишки были отменные, никакой осины – береза и елка.

«Живут же люди, – дивился Яшка, оглядываясь. – Красота-то какая!»

Никаких особых сокровищ тут не было, но само помещение – с полукруглым эркером, отделанное деревом, – было таким просторным и уютным. Видимо, его использовали как кухню и как гостиную. Красовался породистый, под потолок, буфет. Тяжелый диван, кожаный, с салфеткой на высокой спинке. По одной стене шли забитые книгами полки, по другой были развешаны ковры, картины, над дверью висел пропеллер.

– Вот под этим и устроюсь, – сообщил Пельмень, указывая на массивный круглый стол, – а ты на диван завалишься. Сейчас растопим, согреем водички и будем тебя выпаивать.

Голландка, заботливо вычищенная перед отъездом, легко разгорелась, потянуло теплом, не хотелось ни говорить, ни думать, только молчать и слушать, как потрескивают огонь и дровашки. Закипал чайник, шипя и плюясь. Яшка, которого терзала какая-то мысль, спросил:

– Слышь, Пельмень, вот этот фон-барон чего это такой добренький?

Пригревшийся Андрюха приоткрыл глаз:

– А я почему знаю? Когда прижучит – кто-то звереет, а этот вот подобрел. Видал, как ручки-то складывал? О Боге вспомнил.

– Тут вспомнишь, – согласился Яшка. – Не, хороший мужик, хавчиком поделился, можно сказать, выбил.

– В смысле?

– Ну, поругался с этим, с поварешкой, чтобы не одну пайку, а три налил.

– Ага, крысюк какой. У своих же жратву подтибрил.

– Так он же для нас, – заметил Анчутка, но Пельмень, хотя и поколебался, своих слов назад не взял:

– А... ну да. И все равно фашист. Сегодня нам помог, а вчера душегубствовал по хуторам. Но Яшка почему-то воспротивился:

– Нет, если бы так, его бы сразу грохнули. И потом, вот ему папаху кто-то отдал, – он любовно погладил обновку, – шинель, варежки. Поделились – стало быть, человек хороший.

Пельмень подвел черту обсуждению:

– Да бес с ним! Накормил и за шапку – спасибо, лекарству дал – туда же, а как он с другими – сам пусть отвечает.

– Перед кем? – осведомился Анчутка.

– А перед кем надо, перед тем и ответит. Трибуналу. Или кому он там молился... да хорош уже, вон, крышечка уже прыгает.

В буфете обнаружилась сахарница с несколькими кусками рафинада, подернутый белесым мед, банка забродившего варенья. И – о чудо! – жестянка с нерусской надписью, в которой оказалось пальца на три сухого молока.

Яшка немедленно сунул в нее нос, втянул одуряющий запах:

– Вот это фартануло.

Пельмень отобрал у друга банку:

– Хорош марафетиться, все вынюхаешь. Сейчас наведем.

Ох, как славно было, сменив окружение из холодных камней на теплые, дружелюбные деревянные стены, сидеть на толстом ковре около разогревавшейся печи и потягивать из настоящих (фарфоровых! небитых!) кружек кипятка с сахаром и молочную болтушку с жиром. Против ожидания, собачьим духом не пахло, зато в груди после первых же глотков заметно потеплело, дышать стало легче.

Пельмень решил так:

– Полночи один на стреме, полночи второй. Или час через три, как тебе? За печью надо следить, да и мало ли кто зайвится.

– Надо, надо, – сонно поддакнул Яшка. – Ну, ты разбуди, как сам кемарить соберешься, я тебя сменю.

Видя, что друг уже отключается, Пельмень пожалел его и согласился на график дежурства. В конце концов, больной тут один.

\* \* \*

Ближе к трем часам начался густой снегопад. Яшка, сменивший приятеля, сидел, прижимаясь к печке и отлипая от нее лишь для того, чтобы подкинуть в топку поленце. Свет, само собой, не зажигали, только огарочек свечи прикрепили к блюдцу и заботливо налили туда талой воды, чтобы не спалить гостеприимный дом.

И около трех тридцати – он это хорошо запомнил, потому что любовался собственноручно заведенными ходиками, а концы у стрелок светились в темноте, – раздался выстрел.

В это же время промчался товарняк, и сомлевший от тепла Анчутка сперва не осознал, что сначала бахнуло и лишь потом – загрохотало. Причем стреляли неподалеку, чуть ли не под боком.

Он осторожно выглянул в оконце – и, вполне ожидаемо, никого и ничего не увидел. Разве что убедился, что снегу нападало порядочно. И все-таки что-то там стряслось, в доме напротив, поскольку сквозь доски забора блеснула полоска света, будто от фонаря. Метнулась по свежему снегу и тотчас пропала.

Калитка дачи напротив стала открываться – медленно-премедленно, как в страшном сне, – и на дорогу вышел человек. Осмотрелся, а потом отправился как ни в чем не бывало вниз по улице, спокойно, уверенно, без тени спешки.

«Ну, может, хозяин? Ключи забыл или там за банкой огурцов заехал», – успокаивал Анчутка сам себя, но никак не мог избавиться от острого чувства сожаления.

Нет, не хозяин.

Нет, не за ключами-огурцами.

И да, скорее всего, придется сматываться из гостеприимного дома, от печки и из тепла.

Яшка чуть не взвыл, но вовремя опомнился. В конце концов, надо просто все выяснить – глядишь, и ложная тревога.

Он толкнул приятеля в бок:

– Андрюха, буза, тут чего-то стряслось, как бы нам не погореть.

Пельмень тотчас проснулся, распахнул глаза:

– Ась? Что?

Выслушав рассказ Анчутки, он тоже чуть не взвыл от сожаления и тоже взял себя в руки:

– Пошли глянем, как да что.

Затушив свечу и как следует закрыв дверцу топки, пацаны выбрались из дома, прошли через заднюю калитку, обогнули участок и, крадучись, пересекли улицу. Фонари в поселке горели через раз, и все-таки от первого снега было достаточно светло. Удалось разглядеть дорожку следов, идущую от калитки соседнего дома, – она шла прямо, вниз по улице. По четким, равномерно отпечатанным отметинам видно было, что человек не бежал, а именно уходил.

– Пошли, что ли? – неуверенно спросил Яшка.

Пельмень не ответил. Обернув ручку калитки рукавом тельника, он отворил дверь с маленькой медной табличкой «А. И. Романчук» и осторожно заглянул внутрь.

Удивительно. Тут весь двор был завален снегом чуть не по щиколотку, и снегопад валил гуще, прямо смерчами кружился в воздухе.

– Метель. Аль вьюга какая, – хмыкнул Анчутка, белый-пребелый.

Снег был необычным. На дорожке смятыми сугробами возвышались пуховые подушки, безжалостно растерзанные и выпотрошенные, какие-то осколки также усыпали двор, от веранды до калитки тянулся след от матраса, и сам он обнаружился прямо у калитки.



Качественный, толстый пружинный матрац. Его полосатая обивка была изрезана, мягкое наполнение было раскидано вокруг, топорщились голые пружины.

На самом матрасе, головой на нем, а телом на снегу, лежал ничком человек в ушанке, напроочь убитых сапогах, в тельнике, поверх которого чего только не было развешано: бумажки, висюльки на шнурках, проводки. Лежал он неловко, неудобно как-то вывернувшись, так что сразу стало ясно – мертвый.

Пельмень осторожно перевернул его (он был еще мягкий, не заоченевший), Анчутка чиркнул спичкой. Вряд ли парнишка был старше них. Толстогубый, с большим лбом, с огромными, недоуменно выпученными глазами, смутно знакомым лицом. Внешних повреждений вроде бы не было, но когда Яшка чиркнул спичкой, стала заметна дыра в телогрейке с левой стороны.

– В упор стрелял, падла, – прошептал Пельмень.

– Давай, что ли, закроем, – жалостливо предложил Яшка, и Андрюха потянулся было ладонью к мертвому лицу, но вовремя опомнился и руку отдернул:

– Дурак ты, право слово. Тикаем, а то на нас повесят.

Горестно вздыхая, они вернулись в «свой» дом, прибрались, тщательно затушили печь, приладили на место доски и отправились куда глаза глядят, главное, чтобы подальше. Каждый тайком думал, что рано или поздно придет и его время, и будет он лежать таким же макарон, на снегу или в придорожной грязи, и таращиться в небо – или на окружающих, если таковые найдутся, – стеклянными недоумевающими глазами, хорошо еще, если двумя. И точно так же, должно быть, не будут таять, падая на лицо, легкие снежинки.

\* \* \*

Колька, прицеливаясь, поднял пистолет – и немедленно почувствовал, как затряслась рука. Привычно накатила паника, похолодело в животе: «Что это такое? Почему?» Вот уже сколько лет он, повидавший и натворивший многое, не боялся ничего. Уж сколько времени потрачено на всю эту чепуху французскую, отжимания на кулаках, на пальцах, на одной руке, стойки-«крокодилы», все эти подъемы-перевороты, укрепляющие мышцы.

Безнадега все это.

Стоит поднять чертов пистолет – и появляется липкий страх: вот промахнусь! Вот промажу, снова опозорюсь... И трясется накачанная рука, и мечется по мишени мушка, бешеной козой скачет в прорези.

Колька, стиснув зубы, попытался успокоиться, нажать на курок как учили, – но вот уже скачет не коза, а целый слон. Чем ближе к тому, чтобы спустить крючок, тем сильнее трясутся руки, тем выше и резче дергается мушка.

Ощущая, как из глаз начинают струиться злые слезы, он со злобой нажал на курок – плевать, как придется!

Грянул выстрел.

Пацан зажмурился, стиснул зубы, стараясь удержаться, не закричать, не грохнуть эту железяку об стену.

– Николай, далекий промах, – сказали рядом с ясной нотой нетерпения, с укоризной, – я неоднократно объяснял вам. Вы снова ловите десятку.

– Я знаю, – процедил Колька, стараясь сдержаться. Воспитанный человек не будет стрелять в собственного учителя.

Преподаватель физической культуры, он же – ведущий секции стрельбы, Герман Иосифович взял его за руку и принялся снова показывать, «как надо».

– Основная ваша ошибка, Николай, есть угловое отклонение. Причина: малый опыт стрельбы. Однажды приобретенный навык не останется с вами на всю жизнь, нужны постоян-

ные тренировки, – давал он пояснения, мягко, но настойчиво преодолевая сопротивление. – Сейчас необходимо контролировать положение мушки. Мушки, понимаете?

– Да понимаю я!

– И снова отклоняетесь, – учитель деликатно, но жестко вернул корпус и руки Кольки в надлежащее положение. – Ровная мушка в прорези. Повторите.

– Мушка ровная в прорези, – процедил он.

– Не десятка на мишени вам нужна, а именно мушка. Так. Контролируйте дыхание. Начали.

Второй выстрел.

– Николай, а ведь вы опять зажмурились, – вежливо, но не без раздражения констатировал учитель. – Оба глаза закрыли. Не отчаивайтесь, результат гораздо лучше. Уже «молоко». Продолжайте, пожалуйста, – а сам отправился к Оле.

Пацан проводил его взглядом, полным лютой ненависти. Сейчас этот гад будет хватать Олю за руки, а то и за щиколотки, изменять положение корпуса, контролировать отклонение... если бы это был кто-то другой, не взрослый, преподаватель, фронтовик, – честное слово, история города пополнилась бы смертоубийством на почве ревности.

С тех пор, как Герман Иосифович появился в городе, Колька лишился покоя. Его разрывали самые противоречивые чувства. С одной стороны, он, как сын человека, которого не шельмовал только ленивый, понимал, как важно не судить о людях по своему собственному отношению к ним. Глупо и нечестно себя так вести. Если бы к нему, обвиняемому, а затем и подсудимому Пожарскому, нарсудья или, скажем, тот же Акимов отнесли подобным образом, не гулять бы Кольке на условном.

С другой стороны, этот человек действовал на нервы, мозолил глаза, и вроде не было ни малейших оснований видеть в нем врага, и все-таки...

«И все-таки должна быть бдительность», – оправдывал себя Николай.

Направление его мыслей совпадало с общим настроем. Бдительность и снова бдительность. Война еще не закончилась, то и дело возникали слухи о диверсиях, а то и взрывах, всем было понятно, что в городе скрываются прощелы, и потому чужак, появившийся в районе, никогда не оставался незамеченным.

Вот и Германа Иосифовича засекли с тех самых пор, когда он сошел на станции с маленьким, старушечьим, самодельным чемоданчиком. К тому же желтым.

Смугловатый, росту среднего, даже ниже, темные кудрявые волосы, нос короткий, скулы широкие, глаза светлые, крупные, глубоко посаженные. Смотрит прямо, взгляд не прячет. Одет опрятно, в форму без погон, и сама форма – не дорогая и не дешевая – хотя и поношена изрядно, но неизменно чистая и отглаженная. Подворотничок и сапоги сияют так, что глазам больно.

В заводском общежитии, куда его расквартировали для начала, тут же быстро допросили с пристрастием: откуда взялся, друг ситный? С чем пожаловал? Почему обе ноги (руки) на месте? И что не сидится на месте, не восстанавливается родное село или хутор? Все к нам лезут, как будто город резиновый.

– Капитан, – докладывал Ленька, сын комендантши, – демобилизованный по ранению. Контузия. Одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения.

– С документами что? – немедленно спросил Коля.

– Все чисто, – понизив голос, поведал Ленька, – красноармейская книжка с записью о ранении, справка из госпиталя, проездные. Мамка все вносила, так я скрепки-то проверил...

– Ну и?

– Ржавые. Я как-то в его комнату заскочил, как будто дверью ошибся. Он распаковывался как раз. И-и-и-и, сколько ж у него наград, иконостас!

Чуть позже из разговоров, обрывков, упоминаний выяснилось столько всего, что впору было смутиться и просить прощения у подозреваемого. Надо уметь признавать ошибки. А тут такой послужной список: командир разведроты, за линию фронта ходил сорок пять раз, четыре ранения, из них три тяжелых.

Что до наград, то было их на самом деле с избытком, и не только советские ордена и медали, но и польский Серебряный крест пятой степени и еще какой-то несоветский: на перекрещенных мечях – восьмиконечная звезда с цветком и лавровыми листьями.

«Вражина, а то и белополяк», – думал Колька с неприязнью, запрещая себе и вспоминать о том, что последнего зверя такого рода добились за два года до рождения подозреваемого, в двадцать первом году – по крайней мере, так утверждала историчка.

Возможно, дело было в непривычном говоре – вроде бы правильном, внятном, акающем, в котором, однако, чуткое ухо различало мягкое «г». И, чтобы совсем запутать дело, он иной раз заикался.

– Вакарчук его фамилия, – сообщил Ленька.

– Бандеровец, – уверенно заявил Колька.

– Герман Иосифович, – чуть извиняющимся тоном закончил осведомитель. – Место рождения – Львов, Западная Украина.

Да. Тут уже даже Колька был вынужден признать, что для такого происхождения каша во рту вполне извинительна.

\* \* \*

Отметившись везде, где положено, Вакарчук побродил по району, а потом отправился напрямик в школу. И так отрекомендовался, что его немедленно проводили к Петру Николаевичу, в директорскую, о чем-то они там очень быстро договорились – и на завтра выяснилось, что у ребят появился учитель физической культуры.

Многие – и не только Колька – презрительно хмыкали: этот дрищ? Глиста в гимнастерке? (По ходу выяснилось, что тетка-комендантша есть кремьень, не склонный болтать, и о послужном списке вновь прибывшего широкому кругу не известно.)

Вскоре пришлось признать, что нет, не глиста, – это после того, как он сначала подтянулся двадцать раз «до яиц», а затем продемонстрировал безукоризненный подъем переворотом – и тоже два десятка раз сряду. Без пота и напряжения. Более того, он умудрялся и других этому научить. Так что даже отъявленные слабаки, которые до того беспомощно висели на турнике, начали исполнять этот элемент – по разу, два, три, а кое-кто уже и по десятку накручивал.

Худощавый, жилистый, мускулистый физрук с легкостью справлялся с тем, чтобы подсадить, поднять, как-то иначе подтянуть до своего уровня подопечных, среди которых, несмотря на общую голодуху, встречались весьма увесистые экземпляры. И ни шуточки, ни тени насмешки не позволял.

Чуть позже показал и диковинные приемчики. Вызвав здоровяка Захарова – которого в последнее время обходили стороной самые отчаянные бузотеры, до такой степени он закабанел и раздался, – он вежливо попросил себя свалить.

Смерив физрука взглядом сверху вниз, Илья хмыкнул, протянул руки – и только. Тот неуловимо подался вперед, зацепил за майку, дернул на себя, потом наподдал под коленки – и Захаров рухнул на маты.

– Давайте еще раз. Я не успел.

– Пожалуйста, – не стал противиться физрук. В этот раз Илюха был начеку и продержался с минуту, лишь потом упал, заломанный на отменную «мельницу».

– Следующего прошу. Есть желающие?

Колька вышел на мат.

– Атакуйте, Пожарский, – приказал Герман Иосифович.

– Не приучен бить первым, – с подколкой ответил парень.

– Хорошая привычка, если к месту, – одобрил физрук. И молниеносно нырнул вперед, цепляя колено. Колька среагировал, заблокировал руку. Несколько секунд они боролись в стойке – Вакарчук отжимает его колено, Колька – физрукову руку.

«Заваливайся, дожимай корпусом», – мелькнуло в голове, но тело не поспело за мыслью, и его уже толчком опрокинули на спину. Впрочем, Колька успел кувырнуть противника через себя – не хватило маху, и вот уже Вакарчук, извернувшись по-кошачьи в воздухе, вошел в захват, прижав одной ногой руку, душил сгибом бедра, усиливая давление.

Хватая воздух в железном хвате «глисты», Коля услышал тихую подсказку:

– Для сдачи достаточно постучать по мату.

«Выкуси!» – хотел он ответить, но ни голоса, ни силы не хватало, и уже темнело в глазах, в ушах завывало, – ну и, конечно, отпустил физрук, помог подняться и громко, чтобы все слышали, заявил, что у Николая отличные способности к самбо.

– Желающих милости прошу на занятия, – пригласил он.

Он вообще оказался редкий активист, ничего не привык делать для галочки, а все с переполнением.

Вскоре отправился в директорскую и поинтересовался, не требуется ли школе библиотекарь. Сказали, что требуется и очень даже. С квартир эвакуированных, которые так и не вернулись, понаывозили множество книг, книжонок и книжищ, и все они были свалены во флигеле-пристройке. В результате и флигель, и книжная неразбериха перешли в полное распоряжение Вакарчука, и вскоре он окончательно туда съехал.

Работы было много. В так называемую библиотеку попадали книги самые разнообразные, в том числе и дореволюционные, и иностранные, и наверняка с неприемлемым элементом. Все надо было систематизировать, выявить и организовать, чем капитан-разведчик с удовольствием и занялся, проявляя исключительное рвение и бабскую скрупулезность.

По его чертежам на уроках Петра Николаевича мастерили какие-то невероятные стеллажи, которые теперь в четком порядке были расставлены, как на параде, по ранжиру. Библиотека занимала весь флигель, сам Герман обосновался в слепом, без окон, закутке, собственноручно огороженном досками, и с дверью-временкой. Постоянную сколотить все руки не доходили, ибо были все время заняты. Под скромные размеры помещения пришлось соорудить топчанчик и тумбочку, более ничего в «квартире» не было.

Зато библиотека вскоре стала образцовой. Вакарчук самолично вырезал из старого каблука экслибрис: «Библиотека школы № 273» и пропечатал каждый экземпляр. Единственное, на что обратил внимание Петр Николаевич, «принимая» работу: книги на иностранных языках надо отдельно организовать.

– Детки наши не полиглоты, – улыбнулся директор.

– Так ведь и Мировая только вторая, – отзывался физрук, но нерусские книги на отдельный стеллаж все же переставил.

Не особо он стремился к общению, но как-то получилось, что стал повсюду своим. Как если бы в районе родился, вырос и, помимо фронта, никогда отсюда не отлучался. Медалями не бряцал, ранами не хвалился, если и выпивал, то только чтобы не обидеть, без выпендрежа объясняя, что после контузии предписали не увлекаться, да и голова болит очень.

Курил тоже мало и лишь махорку, которую сначала приобретал у местного умельца. Потом, заручившись позволением директора, в палисаднике у флигеля начал выращивать свой табак, которым щедро и бесплатно снабжал желающих – кому для курева, кому против жука.

Раскопал еще грядок, откуда-то раздобыл семена и теперь выращивал всего понемногу: лук, свеклу, морковь, репу, картошку, а самые солнечные места отвел под цветник. Этого сначала никто не понимал – охота землю занимать под несъедобное, – но вскоре палисадник у

флигеля стал местной достопримечательностью: вот вроде бы не было на нем каких-то особенных роз-тубероз-левкоев, а он цвел и зеленел, переливался различными цветами, и так почти до самых заморозков.

«Гиммлер хренов», – думал Колька, с раздражением выслушивая умиленные бабьи разговоры: «Золотые руки, золотые! У такого и палка зацветет».

Возвращаясь с футбольных баталий, Колька не раз замечал, как бывший фронтовик, командир разведроты, сконфуженно, как кот, готовый к шkode, выбирается из флигеля и самозабвенно копошится в земле. Пацан, не выдержав, как-то подкрался к палисаднику, неожиданно выдал громкий, уверенно-обличающий «добрый вечер» и со злорадством заметил, как Вакарчук смутился и даже принялся оправдываться:

– Я, Пожарский, знаете ли, так. Смерти много повидал, много знакомых в землю ушло, вот теперь хочется, знаете ли, как-то...

Коля продолжал сверлить его насмешливым взглядом, но уже не так уверенно. Даже стало несколько стыдно.

Агентура в лице Саньки докладывала, что физрук в мае ходил с удочкой на речку, но лишь для виду, а на самом деле слушал соловьев. Ну а что бродячие собаки и помойные коты, почуяв приближение живодерного ящика, эвакуировались на физруков двор и вообще испытывали к нему необыкновенную любовь – это нельзя было скрыть. Равно как и то, что он их подкармливал (хотя это было большим секретом).

Бабыё и девчонки разделялись во мнениях. Одни возмущались, что он «общество объедает, в столовке только четверть потребляет, а остальное котам и псам скармливает, нет чтоб детям отдать, раз сам не жрешь». Другие утирали слезы умиления: «Вот ведь какой человек – сам недоедает, а тварюшек бессловесных обихаживает». Оля ничего не говорила, но по ее глазам читалось, что она относится ко второй группе.

Справедливость требовала отметить, что Вакарчук – особенно когда его огород начал приносить плоды – подкармливал не только собак-кошек, но и всех, кто обращался или просто кланчил. Та же Светка Филипповны, те же Мишанька и Пашка постоянно что-то жевали, возвращаясь от него. С мелкотней он ладил просто превосходно, охотно сидел, если просили, возился, книжки читал, пускал в лужах кораблики.

Что по женской части, то и тут он был чист как первый снег. В других школах физруки пользовались самой дурной славой, не гнушались устраивать гаремы. Ясное дело, появление молодого, холостого, о двух ногах и руках не могло пройти незамеченным у женского пола. Множество глаз пристально наблюдало за Вакарчуком, и все-таки даже самые бдительные с богатой фантазией не могли сказать о нем ничего плохого.

Вообще он был на виду, как на ладони, разве что изредка, по свободным дням, наведывался на станцию со своим желтым чемоданчиком, но к вечеру неизменно возвращался.

Вот если бы Коле прямо задали вопрос: «Что конкретно ты имеешь против этого поганого гражданина?», он бы вряд ли сразу нашелся, что ответить.

Ну, первоначально он здоровался с незнакомыми и даже улыбался. От излишней приветливости излечили довольно быстро – сначала подвыпивший сосед, вопросивший, что это он лыбится и «что ли, мы знакомы?», а потом и разбитная соседка под градусом и в поисках счастья. Вакарчук усвоил принятые нормы и старательно отводил глаза при случайной встрече с незнакомцем и тем более с незнакомкой.

Но вот улыбался он по-прежнему в ответ на практически любые вопросы – от «Герман Иосифович, ведь не было же заступа?» до «Керосин завезли?», в процессе почти любого занятия (суровая завуч, которая в целом ему покровительствовала, часто призывала к порядку: «Работай, улыбаться потом будешь»), будь то прополка клумб, демонстрация передней подсечки или подъема переворотом.

«Лыбится, как дефективный», – думал с неприязнью Колька.

Даже когда мама – все-таки по итогам работы в больнице научилась она разбираться в различных хворях – высказала мнение, что это, как и заикание, просто последствия контузии и скоро пройдет, Коля полагал, что Вакарчук просто недоумок.

Возможно, по причине скудоумия он не переносил пота. Наверное, потел, как все, но что-то такое с собой делал, что после самых тяжелых нагрузок, по окончании субботников, кроссов от него пахло не как положено нормальному работяге, а или почти ничем, или одеколоном.

Стоило прийти к мысли о том, что типчик просто ненормальный, что в целом примирило Колю с субъектом, как произошло то, что выжгло и вытравило любую терпимость. И возненавидел он Вакарчука до полной непримиримости.

\* \* \*

Как и повсюду в стране, после войны популярность тиров выросла просто неимоверно: кто-то жаждал научиться стрелять, кто-то – похвастаться своим мастерством, а заодно и подзаработать копейку-другую, кто-то просто глазел, потому что «кина» в «Родину» не завезли.

Устроители тиров моментально сообразили, на что ловить любителей военных развлечений, и за меткие попадания выдавали разной ценности призы. Один павильон в сквере работал и летом, и зимой, а для тепла устанавливали тент-палатку. Дети и неповзрослевшие взрослые прямо-таки роились вокруг. Призы имелись самые разнообразные, в основном съестные, потребляемые – сахар, меланж, консервы, махорка, или полезные, например мыло на настоящих (не собачьих) жирах. А в некоторые дни, когда на него находил стих, завтира выставлял и ценные вещи – то немецкий аккордеон, то часы «Зенит», целенькие, не битые, невесть откуда взявшиеся настоящие бритвы «Золинген» и прочее добро.

Но призы – это не для всех, иное дело – тотализаторы. Они процветали. Азартные товарищи, которые сами страдали косоглазием и дрожанием рук, тем не менее прекрасно разбирались в талантах других стрелков и с удовольствием ставили грошик-другой на того или иного меткого снайпера. Причем нередко обогащались.

Это было известно абсолютно всем, но, во-первых, руки у власти до всего не доходили, а во-вторых, и незачем. Куда удобнее, когда весь потенциально опасный элемент сконцентрирован в одном месте, как тараканы у воды.

В этот злополучный день у Кольки с Олей вышел не то что скандал, но некоторое разногласие. Всему виной оказался Колин галстук-селедка. Красивый, в удивительную полоску, с которым он старательно сражался, добываясь нужного, чуть косого узла. И вот когда Колька и галстук явились перед Олей, эффект оказался совершенно не таким, как замышлялось. Оля сначала подняла брови, потом фыркнула, потом пожалала плечами – и вроде бы смирилась. Только к парку шли они какими-то партизанскими тропами, избегая большого скопления народа. На прямой вопрос Оля ответила, что если он, Пожарский, с самого начала собирался нацепить на шею дохлого попугая, то предупреждать надо было.

– Да понимала бы чего! – возмутился Колька. – Красивый галстук! Что, постоянно в серобуром ходить, как попы да монахи?

– Тоже мне, щеголь! Такие штуки на шею только деревенские дурачки вешают типа Витюши, – заявила Оля и высокомерно замолчала.

Так звали местную достопримечательность – Витю-юродивого или Витю-Пестренького, единственного сына подсобной рабочей в продуктовом магазине, инвалида недоразвитого, который страсть как любил навешивать на себя все, что находил. Разукрашенный, как новогодняя елка, бродил Витя по району, и чего только на нем не было – от рекламы «Вносите вклады в сберкассы!» до мышеловки.

В общем, вечер начинался не так приятно, как мечталось. А тут еще вышли к тиму, а там провокатор заведующий выставил на кон удивительную вещь: трофейное зеркало в оловянной



оправе, с подставками под свечки. Настольное, загадочно сияющее, да еще и в футляре, обитом алым бархатом, с серебристыми замочками, оно было прекрасно до такой степени, что даже мужикам не приходило в голову задаться мыслью, зачем оно им нужно. Зеркало просто притягивало и манило.

В итоге, бормоча: «Буду сам смотреться аль на картоху сменяю», пыталели счастья просаживали практически всю получку. Хитрый завтира задал непростую задачку.

– Смотри сюда, – объяснял он, – вот тебе два монтекристо, заряжаю зараз оба. Первым выстрелом надо поразить вот ту мишень, с зайцем. Шлепнул зайца – от тебя начинает улепетывать вон тот волк. И если со второго ружья его снимаешь, то забирай приз.

Многие пробовали, спуская жирнее зарплаты – шутка ли! Заяц, зараза, немедленно завалился, и, пока игрок хватал второй ствол, вскидывал и целился, – волка уже и след простыл.

– Какая красота, правда, Коля?

Колька с изумлением посмотрел на Олю: полуоткрыв рот, прижав к заалевшей щеке сплетенные пальцы, она огромными восхищенными глазами прямо-таки пожирала эту ничемную мешанскую глупую вещь!

– А ты знаешь, что в такие тарелки только вертихвостки смотрятся? – не выдержал он. – При свечах.

Оля вспыхнула еще жарче и высокомерно заявила:

– Ты глуп. Ты потому так говоришь, что никогда в жизни тебе не попасть!

– Больно надо время тратить на всякую лабуду. Галстуки только Витюши носят, – перердразнил он, – а сама-то спит и видит, как бы перед зеркальцем хвостом покрутить. Свет мой, зеркальце, скажи!

– Простите, Николай, но вы заблуждаетесь, – попенял невесть откуда взявшийся Вакарчук, сияя белоснежным кашне, в пальто, мастерски перешитом из шинели, элегантный до невозможности. – Внимание к собственному внешнему виду – не только обязанность любого советского человека, но и проявление уважения к окружающим.

В этот момент один из посетителей, уже не смущаясь, послал завтира вслед убегающему волку, и кто-то замазал на то, что все это жульничество и все равно не попасть, только дерет, дармоед, с трудящихся втридорога. Дурацкий Герман с легкой укоризной сказал:

– Зачем же так грубо? – и подошел к столу с ружьями. – Не надо грубить, не следует нервничать. Ни одно дело не следует начинать со зла. Достаточно просто успокоиться, прицелиться и выстрелить. И приз будет, непременно.

Кто-то сгоряча пообещал ему с полным спокойствием отвесить по полной, но завтира прекратил бесплодную дискуссию:

– А ты бы, мил человек, проповеди оставил на улице, а сам бы выступил, как полагается.

– Ну а почему бы и нет? – вежливо отозвался Вакарчук. – Сколько с меня следует?

Завтира запросил, не стесняясь. Герман не просто без возражений выложил больше официальной таксы, но и смирно дожидался, пока барыга зарядит оба ружья. Не придирался, не делал попыток осмотреть инвентарь, спросить, что за кривые костыли ему тут подсовывают, покритиковать пули. Просто стоял и ждал, неторопливо сдергивая по одному пальцу перчатки.

Однако, как только пошел заяц и вокруг притихли, лишь кто-то деловито мазал десятки «за» и «против», физрук, молниеносно вскинув монтекристо, как бы и не целясь, выбил одну мишень, четко и легко, и, снова как бы неприцельно, завалил из второго ружья и волка.

Повисла гробовая тишина, потом заорали все – и кто проиграл, и кто выиграл, – вопили одинаково восторженно.

Заведующий тиром не просто с уважением, но даже с неким благоговением снял приз с подставки, сдул тонкий слой пыли и преподнес Герману. Вакарчук попытался отказаться:

– Что вы. Ни к чему мне. Я просто так, чтобы показать, что для народа-победителя нет ничего невозможного. Вы согласны?

– А то как же, – немедленно отозвался завтира, с восторгом прикидывая, сколько народу еще пополнят ему кассу, пытаясь повторить подобный номер.

Однако один из завсегдатаев-энтузиастов, плотный мужик с увесистыми кулаками, решительно заявил:

– Э-э-э, нет, милый. Гражданин вот выиграл – значит, шабаш. Отдавай, раз обещал.

Самолично отобрав у завтира футляр, он впихнул его в руки Вакарчуку:

– Неча баловать. Вы учитель, должны понимать.

– Тоже верно, – согласился тот, – непедagogично. Вы правы.

Повернувшись, он вложил футляр в Олины руки и был таков.

Она, открыв рот, потеряв дар речи, ошеломленно переводила глаза с удивительной вещи на дверь, за которой скрылся физрук. И было у нее во взгляде нечто такое, от чего Колька процедил, сжимая кулаки:

– Верни немедленно.

– Нет, – тотчас ответила Оля, – нет. Мое. Не отдам.

И совершенно по-детски прижала футляр к груди, глядя испуганно, но твердо. Пацан скрипнул зубами. Как будто со стороны увидел он себя – красного, взъерошенного, в дурацком галстуке, на которого (как он думал) все смотрят с насмешкой, – и совершенно по-взрослому рассудил: нельзя ни скандалить, ни кричать. Не надо унижаться.

– Как дите малое, – с натянутой улыбкой произнес он. – Девчонка есть девчонка. Ладно, пошли отсюда.

\* \* \*

Дня не прошло после этого, как школу посетил представитель ДОСАРМа, о чем-то они говорили в кабинете Петра Николаевича – сперва тет-а-тет, потом откопали из книжных завалов Вакарчука, потом долго шептались с завхозом.

Итогом данных совещаний-заседаний стало единогласное решение об учреждении при школе секции юных стрелков, да не просто, а чтобы с настоящим тиром в подвале, на месте бомбоубежища.

– Обустроим по полной программе, – говорил досармовец, для убедительности рубя ладонью воздух. – Оружие, расходные, инвентарь – все в лучшем виде. Вы фронтовик, офицер, товарищ Вакарчук, понимаете, как важно не ронять уровень всеобуча. Сплошь психологии и логики, а военруков нет. А случись что – чем воевать будем, болтологией? Так что придется вам.

– Честное слово, мне бы не хотелось...

Товарищ из ДОСАРМа поднял палец, призывая к тишине:

– Настрелялись, понимаю. Сам с сорок первого на передке. И все-таки придется. Надо.

Нельзя сказать, что Герман не сопротивлялся – пытался, но ровно до тех пор, пока досармовец не потерял терпение и не намекнул максимально прозрачно: пацифизм – это чуждое настроение и в настоящее время на повестке дня не стоит, по крайней мере до тех пор, пока не будет выкован ядерный щит страны.

Правда, с ружьями пока что-то не заладилось. И хлыщ Герман учил ребят прицеливанию – изготовке – хватке – дыханию – спуску курка на выхолощенных пистолетах. Было их всего три штуки, зато какие! Наган, парабеллум и крошечный, совсем детский браунинг.

Как поведал всезнающий Альберт, все эти богатства – личное боевое оружие, фронтовые сувениры, сданные на выходе в отставку полковниками и генералами.

– Я б ни за что не сдал бы, – заметил Колька, – ни в жисть.

Альберт прищурился, шикарно выпустил из носа две толстые струи дыма:

– Куда б ты делся. Светила бы статья за хранение оружия без разрешения – рванул бы сдавать, впереди собственного визга.

– Прямо щас.

– До пяти лет, – со значением добавил ученый друг, – и не условно.

Колька промолчал.

Как он ни старался, со стрельбой у него не ладилось.

Зато у Оли – очень даже. В ее ясных глазах – таких больших, доверчивых, в густых пушистых ресницах, – таилась исключительная прицельная панорама, тонкие, полупрозрачные руки демонстрировали невероятную координацию движений и твердость, отсутствующие мышцы – редкую память... так, скорее всего, нашептывал ей на ухо подонок Герман Иосифович.

– Стрельба – это монотонное занятие, – вещал он своим тихим, тараканьим голосом. – Это не беготня скопом за мячом, не размахивание кулаками. И даже не самбо. Стрелок ведет самый трудный бой: с самим собой. Хладнокровие, выдержка, глазомер – это всего лишь полдела. Главное – владеть собой и своими эмоциями... А вас, Пожарский, пока побеждает Коля – маленький мальчик, не способный справиться с собственным глупым и смешным раздражением.

Зато Оля... ох уж эта Оля. Стоило ей взять в руки пистолет – особенно жаловала она этот крошечный, курносый браунинг, обмылок настоящего оружия! – как она преображалась. Весь мир прекращал свое существование. Ходи ты вокруг нее колесом, играй свадьбу, распевай матерные частушки, – она ничего не слышала, не видела ничего, кроме мушки и прицела. Пожалуй, что и не думала.

Мягкое, уверенное движение тоненького прозрачного пальчика, выстрел, и – десятка.

– Десятка, – подтвердил Вакарчук. – Гладкова, вы редкостная умница. Я думаю, вам стоит подумать о чем-то более серьезном, нежели школьный тир. Помнится, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе...

И он гнал какую-то чушь про заморские страны, а Оля внимала ему с горящими глазами, и длилось это долго, тошнотворно долго, а закончилось обещанием:

– Если вы сможете посещать тир по вечерам, я с удовольствием научу вас интуитивной стрельбе.

«Если она еще и по вечерам будет «посещать», поубиваю обоих», – в бессильной злобе подумал Колька.

\* \* \*

У дома встретился Санька Приходько, с хрустом жуя, предложил:

– Хочешь кальмотик? – и отсыпал из кулька сушеной свеклы.

Поблагодарив, Колька переложил ее в карман и тотчас кусочек вкуснятины запихнул в рот:

– Что, тетка Анька расщедрилась?

Санька ухмыльнулся:

– Дождешься от нее. Светке Герман подкинул на зуб.

Колька чуть не поперхнулся. Хотелось выплюнуть содержимое, но ненависть ненавистью, а свекла свеклой.

– Ну всех прикормил, садовод... – и добавил непечатное.

Санька от удивления приостановил жевание, подвигал прозрачными ушами, складывая два и два, и наконец понимающе кивнул:

– Ну да. Понимаю. Только все-таки зря, мужик-то он нормальный.

– Нормальный мужик цветочки разводить не станет, – упрямился Николай.

– Ну а эти там, как его, беса... Тимирязев.

– Это другое, – заявил Колька уверенно.

– Но все-таки не жадничает, – увещевал Санька, – луку приволок. Вон тетке герань в горшке подарил. Теперь как хорошо, моли нет.

– Она у вас с голодухи вся перемерла.

– Не. Герман преподнес, моль разбежалась, тетка и раскисла. Сидит, слезки в чашку роняет, а он ей еще и втолковывает, мол, от цветка еще и нервы успокоятся.

– Он что, тут? – насторожился Колька.

– Да вон со станции зашел, с теткой Анькой кипяток гоняет. Да и Оля зааскочила. Сперва до тебя подалась, не застала, теперь у нас, Светке помогает с арифметикой...

Уже не слушая приятеля, Колька вбежал на этаж и по-хозяйски отворил хронически не закрывающуюся дверь.

Картина, представшая перед его покрасневшими глазами, была ужасна. Вокруг стола хлопотала тетка Анька Филипповна, красиво причесанная, вся какая-то отглаженная-накрахмаленная, даже помолодевшая и похорошевшая. Оля с огромными глазами, забыв о том, что перу не место во рту, и мелкая Светка, которая успевала жевать, хрустя за ушами, и восхищенно тарашиться, и ненавистный Вакарчук со своим желтым чемоданом.

Орудия хваталками, дурацкий Герман ловко управлялся с тетрадным листочком, складывая самые разнообразные бумбездельки. Как по волшебству, превращались листки то во «всамделишную» – прыгающую! – лягушку, то в истребитель, то в двухтрубный пароход...

– Теперь розочку, – распорядилась Светка.

– Ну это же совсем просто, – с неизменной улыбкой заметил физрук, но противиться не стал, сложил листок в длинную полосу и быстрыми, точными движениями, почти не останавливаясь, как-то скрутил, расправил, подтянул, – и вот в его поганных руках расцвела розочка – пусть в линейку, но почти как живая.

Светка аж лапками всплеснула, тетка Анька уже всхлипывала от восторга, а этот гад со своей малахольной улыбкой протянул цветок Оле.

Плотно прикрывая за собой дверь, никем не замеченный Николай успел услышать, как Вакарчук пообещал:

– Вот подождите, когда зацветут настоящие...

– Жди-дожидайся, – проскрежетал Колька.

Дальше он действовал как в тумане, даже не задумываясь ни о самом поступке, ни о последствиях. Ближайшая телефонная будка с новехоньким аппаратом находилась в пяти минутах ходьбы быстрым шагом. Совершив звонок по «ноль-два» и произнеся несколько слов нарочито измененным голосом, Колька отправился бродить куда глаза глядят. Видеть никого не хотелось, и идти домой было нельзя – вскоре в округе будет людно. Исключительно людно.

...Бригада прибыла – пятнадцати минут не прошло, и вот уже битый час старательно, по миллиметру разоряла поочередно огород, цветник, самый двор. Далее перешли в помещение, повскрывали окна и полы, отодрали пороги, перерыли-перетрясли книги и потом, видимо с досады, якобы случайно наподдали по стеллажам так, что они попадали доминошками, один за другим. Все пришло в состояние первобытного хаоса.

Несмотря на позднее время, скопилось немало наблюдателей: кто-то негодовал, кто-то охал, в основном же молчали и смотрели, готовые к любому развитию событий, от самосуда до бунта – в зависимости от ситуации. Однако за оцепление никто не рвался, туда допустили только представителя администрации и лицо, занимающее помещение.

Старший группы, сапер лет двадцати, не более, злой, как горчица, и сильно загорелый, объяснялся с Петром Николаевичем:

– Вызов поступил, что схрон у вас – гранаты, боезапас, мины, нас к вам и бросили. И, главное дело, собаку не дали – занята, мол, сами вынюхивайте. А мы только-только с Алушты, задолбанные до последнего предела. Ексель-моксель. Полгода впахивали – вся набережная,

пляж, парк, мосты, плантации эти розовые, виноградники. Ходишь работаешь, а местные орут, за руки хватают, мол, не тронь, только-только развели. А там-то, под розочками, и шпринги, и наши, в деревянном корпусе – что ты!

– Немецкие, наверное? В деревянном-то корпусе.

– Ага, – зло сплюнул тот, – наши. Противопехотные фугаски по двести граммов тола: задел – и шабаш, руки-ноги собирай по винограднику.

– Книжки-то зачем? – неуверенно спросил директор.

– Книжки... я вам, товарищ директор, расскажу зачем. Наткнулись вот в Крыму на блиндаж, а на столе – карта, и вся в значках, готовый орден на столе то есть. Ну, Валька-москвич и хватанул – весь блиндаж на воздух взлетел. Только один везунчик остался в живых, случайно, контузило только. Он и рассказал, как дело было... Слушай, земляк, ты уж не серчай, – это уже Вакарчуку, – просто знаешь, как: дом старый, а вот порожек новый, да и палисадник видно что недавно обиходили.

Физрук, который все это время стоял, засунув руки под мышки, зажав чемодан меж колен, глядя на уничтожение и разгром, вдруг дернулся, схватился за висок, достал пузырек и, откупорив, потянул носом. В воздухе разлился резкий, противный запах, от которого, однако, Вакарчук явно пришел в себя. Правда, ничего не ответил.

– Новенькое, оно подозрительно, – чуть ли не извиняясь, пояснял старший группы. – Я сколько раз видел: вход в схрон как раз под порогом меж комнатами. А раз подкрашенный – так к гадалке не ходи, там и схрон.

Герман Иосифович, после понюшки посвежевший и оживший, хотя и по-прежнему белый как лист, выдавил, разлепив бескровные губы:

– Где это?

– Хде-хде, – передразнил сапер, – а то сам не знаешь. Западная Украина.

Тот кивнул.

Ничего не обнаружив, извинились и уехали. Наблюдатели тоже стали расходиться. Вакарчук отказался поочередно от предложения Петра Николаевича, и от Филипповны, и еще от пары мадамочек переночевать у них на хлебах – и отправился в разоренный флигель.

Оля, которая, так и не дождавшись Николая, отправилась домой одна, видела, как сгорбленный Вакарчук один за другим устанавливает стеллажи, поднимает, бережно обдувая, книги. И явно у него болела голова, потому что он то и дело останавливался, тер висок, морщился. Оле ужасно хотелось вмешаться в происходящее. Постучаться, войти, извиниться, предложить чем-то помочь. Хотя бы утешить, сказать что-нибудь, пусть глупое, но теплое, доброе... Однако, будучи умницей, она прекрасно понимала, что бывают ситуации, когда просто надо человека оставить в покое, одного.

Да и люди, какими бы хорошими они ни были, все склонны перевернуть на свой лад, предполагать самое мерзкое и грязное. И ей, даже ни в чем не виноватой, совершенно не улыбалось оправдываться, прежде всего перед Николаем.

В общем, добрейшая Оля Гладкова, отзывчивая душа, взяв себя в руки, заставила себя пройти мимо чужой беды и одиночества и сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Лишь дойдя до дома, онахватила бумажной розы – но ее нигде не было. Она валялась, наверное, где-то. Никому не нужный, втоптаный в грязь осколок мечты о цветущем рае. И не зацветет более ни она, ни те самые настоящие розы, о которых с такой нежностью, такой любовью говорил этот покалеченный, странный человек, сплошная открытая рана.

...Колька, убедившись, что все стихло, вернулся домой за полночь, высыпал перед матерью пригоршню свеклы.

– Ой, надо же, – обрадовалась она, с наслаждением принюхиваясь, – прямо как чистый чернослив. Умеет. То-то Наташка порадует.

– Сама бы съела, – заметил он грубовато, но мать давно уже не обращала внимания на его колючки.

– Пусть, пусть ребенок полакомится, теперь не скоро свеколки-то такой увидим. Разве что осталось у него, бедного. Герка-то как-то по-особенному ее сушил.

– М-мать, – процедил Николай, но вовремя прикусил язык.

– Что, сынок? – немедленно спросила она.

– Это я так. Спокойной ночи.

«Спокойной» не получилось, он проворочался, кусая подушку, до утра.

Уж сколько воды утекло со времени его исторического звонка на «ноль-два», и до сих пор при воспоминании об этом от стыда по-прежнему пальцы в ботинках поджимаются.

\* \* \*

– Итак, что у тебя по дачам? – осведомился Сорокин.

Акимов подавил вздох. По дачам все было настолько кисло, что перспектива спуска на землю уже не пугала, а скорее, напротив. Устал Сергей разочаровываться в своих силах.

Начиналось все мирно, даже юмористически. Прибежала растрепанная почтальонша Ткач, разносившая корреспонденцию зимующим на Летной и Пилотной, что в поселке Летчик-Испытатель, и сообщила, что на Гастелловской «что-то не то».

«Чем-то не тем» оказалась вскрытая генеральская дача, заколоченная досками на зиму. Сколько ни осматривал Сергей участок, скрупулезно, по часовой, с привязкой по ориентирам, никакого особо жуткого криминала на генеральском участке не обнаружил. Дверь, впрочем, вскрыта вроде бы стамеской. Ну и, знамо дело, в доме полный бардак: в воздухе белым-бело от пуха и пера, как в курятнике во время переполоха. Каждая подушка, вплоть до невинных думок, была вспорота, причем на панцирной кровати выпотрошенные подушки зачем-то сложили стопкой и прикрыли обратно салфеткой с кружавчиками. Шкафы, шифоньеры, тумбочки – все вывернуто, какие-то сундуки и саквояжи тоже опустошены, все содержимое валялось на полу. Абажур, заботливо укутанный на зиму кисейкой, сорван и отброшен в угол. На кухне – разоренный буфет, груды битых тарелок, вскрытые банки. За оградой, в кустах нашелся ватный матрас, безжалостно выволоченный из родных стен и выпотрошенный до последнего клочка.

При таком разгроме как-то напрашивались пропавшие ценности и кровавые лужи, но их не было. Более того, сколько ни пытался уразуметь Акимов, не было ни логики, ни смысла в этом бардаке. Беспорядок – не улика, мало ли ключи от городской квартиры искали в спешке. А иных необычных вещей на месте происшествия не имелось.

Хотя... в версию о хаотичных поисках ключей не вписывалось то, что было очевидно: безобразничали старательно и методично, не оставив без внимания ни сантиметра помещения. На фоне всего этого было глупо спрашивать, не видит ли что-либо необычное товарищ Ткач, по долгу службы в доме неоднократно бывавшая. Товарищ Ткач только хлопала глазами – она же письмоносица, не пинкертон. Составив пространный и бестолковый протокол, Акимов вздохнул и вернулся в отделение.

Хорошо, еще ядовитого Сорокина не было, отбыл на три дня по каким-то служебным надобностям. Акимов, раскинув мозгами, состряпал лишь одну версию: вандализм на фоне личной неприязни. Надо полагать, насолил кому-то герой-летчик. Самому воину морду набить, понятно, руки коротки, вот и решили хотя бы так напакостить.

Идея в целом была здравая (за неимением иных мыслей) и, главное, удобная.

Беда поджидала Акимова на следующий день в виде пожилой, подтянутой пары физкультурников.

– На лыжах отправились, – пояснял мужчина, – смотрим, вроде как калитка открыта...



И снова отправился Акимов в Летчик-Испытатель, теперь уже на Чкаловскую, и снова застили глаза перья вспоротых подушек. Такая поганая штука, никак они не хотели угомониться и улечься на пол – чуть двинешься, и опять поднимается снежная метель. Снова разгром, разоренные шкафы-чемоданы, только теперь, помимо подушек-думок, пострадал еще и ни в чем не повинный матрас с огромной генеральской кровати. Тиковый, полосатый, который вытащили во двор и подвергли надругательству, выпустив кишки-пружины.

И вот вернулся Сорокин и задал вопрос со своеобразным началом: «Как у тебя с...?» И пришлось признаться, что никак, и версий, помимо стремления насолить из личной неприязни, никаких нет.

– Ах, личная неприязнь, – со значением протянул капитан. – И небось по-пьяни?

Акимов засмутился. Кивнув, начальство продолжало:

– Я тут делишки разбирал, ну, знаешь, всячки всякие ваши. Старые в том числе. И наткнулся на интересную папочку... Ты-то, конечно, понятия о ней не имел, да? Не твое дело, пусть другие разбираются, у меня своих дел по горло. А вот что мы имеем на сейчас.

Николай Николаевич извлек из сейфа новехонькую, хотя и пыльную папочку. Очевидно было, что лежит она нетронутой давно.

– Вот тут, сударь ты мой, еще два рапорта о таком вот, как ты говоришь, стремлении насолить из личной неприязни. Два!

– То есть как это? – пробормотал Сергей.

– А вот таком кверху. Два случая имели место на разных дачах в поселке Летчик-Испытатель. В сентябре – дом Сичкина Николая Ионыча, в октябре – Пьецуха Алексея Ивановича. Как прикажешь понимать? Все летчики не угодили кому-то одному?

– Ну я и говорю – хулиганит чокнутый.

– Ну да, чокнутый, – поддакнул Сорокин, – хорошо, удобно, да неувязочка. Ты небось грамотный, книжки читал. Может, что и помнишь. Особенно такое умное выражение: первый раз – случайность, второй – совпадение, третий...

– ...закономерность.

Сорокин с одобрением кивнул:

– Или враждебные действия. Если так, тогда что такое два случая из сейфа и два твоих – это уже не три, а целых четыре. Серия, так?

– Так.

– Во-о-от. И скажу тебе по большому секрету – и по соседним окраинам, по сводкам судя, еще как минимум парочка-троечка официально зарегистрированных «хулиганств», подчеркиваю – только зарегистрированных. И именно с подушками-матрасами, и именно по офицерским дачкам. Намек понял?

Акимов кивнул.

– А теперь к нашим баранам вернемся. Вопрос у меня к тебе, товарищ следователь: зачем дураку с ножом матрас на потрошение на улицу переть?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.